Север Гансовский

**Голос**

Не беспокоит, синьор, нет?.. Вы понимаете, эту бритву я купил полгода назад и с тех пор ни разу не точил. Конечно, она уже садится. Но страшно отдавать. Сами знаете, как теперь точат…

Синьор, кажется, иностранец?.. Ну, правильно. Чувствуется по акценту. Да и, кроме того, когда живешь в таком городишке, как наш, знаешь каждого, кто приходит к тебе в парикмахерскую… Вам понравился наги городок? Конечно, в Италии таких много. Но наш Монте-Кастро все-таки город особенный. Синьор слышал что-нибудь о театре Буондельмонте и о певце Джулио Фератерра?.. Да-да, многие считали, что он станет рядом с самим непревзойденным Карузо. Так вот, вся история происходила в нашем городе, на наших глазах. Театр Буондельмонте — это у нас. А Джулио живет здесь рядом. Он мой сосед. Больше чем сосед…

Что вы сказали?.. «Только один год»? Нет, синьор, даже не год, а гораздо меньше. Джулио Фератерра выступил всего три раза, и этого было довольно, чтобы мир затаил дыхание. Первый концерт прошел почти незамеченным, а последний слушала вся Италия. Но больше он уже не пел. Никогда в жизни… Самоубийство? Нет, что вы! Никакого самоубийства. Просто у Джулио был сделанный голос. Один бельгиец… Вернее, один бельгийский хирург… Как! Синьор ничего не слышал об этом? Ну, тогда синьору просто повезло, потому что я-то знаю эту историю из первых рук. Но, прежде чем говорить о Джулио, нужно сказать несколько слов о театре Буондельмонте. Это ведь тоже достопримечательность нашего городка, и тут-то все и происходило.

Синьор видел театр?.. Нет. Но тогда синьору, наверно, знакомо такое понятие «концерты Буондельмонте»? Синьор знает, да? Так вот, это у нас. Вернее, не совсем у нас. Не в городе, конечно, а в трех милях отсюда, на вилле Буондельмонте. Понимаете, старый граф Карло Буондельмонте, дед нынешнего владельца, построил у себя великолепное здание для музыки и пения. Чтобы раз в пять лет там могли собираться настоящие ценители и слушать лучших певцов и музыкантов Италии. Выступить на сцене Буондельмонте — уже само по себе большая честь. Но, если вас там признали, если ваше выступление прошло с успехом, можете считать себя действительно выдающимся артистом. С рекомендацией Буондельмонте примут в «Ла Скала» и вообще на любую оперную сцену мира.

Старый граф не продавал билетов на концерты, нет. Он звал сюда истинных ценителей и даже оплачивал дорогу тем, кому это было не по средствам. При старике вы тут не встретили бы заокеанских миллионеров с раскрашенными дочками. Тогда в зале сидели знатоки: преподаватели пения, артисты, музыканты. Никто не обращал внимания, если у человека рукава на локтях были протерты. Сейчас, при внуке старого графа, все совсем по-другому. Билеты на концерты продаются. А поскольку там всего четыреста мест в зале и концерты бывают только раз в пять лет, можете себе представить, по каким ценам.

Но так или иначе, концерты продолжаются. Первый был в 1875 году, и с тех пор их состоялось тридцать восемь. По времени должно бы сорок, но один пропустили перед первой мировой войной, а второй — в сорок пятом году. Внук старого графа сидел тогда в тюрьме у американцев. Как военный преступник…

Вас не беспокоит, синьор?.. Простите, я еще немного направлю… Так вот, вы сами понимаете, что наш городок живет только этими концертами. Конечно, мы не можем покупать билеты в театр. Но ведь в зале Буондельмонте работают наши люди: билетеры, уборщики, буфетчицы. И у всех есть родственники и знакомые.

Я сам бывал на каждом концерте, синьор, начиная с 1910 года и кончая последним, в 1960 году. Я видел здесь много знаменитостей, когда я был молод. Бессмертного Карузо. Густава Малера, прятавшего все понимающие глаза за толстыми стеклами очков. При мне по коридорам виллы Буондельмонте осторожной походкой, как будто боясь запачкаться обо что-нибудь, проходил Артуро Тосканини со своим длинным прямым носом и густыми бровями… Я многое видел здесь. Да что я — я уже старик! Остановите сейчас на улице любого мальчишку-разносчика и спросите его, кто лучше делает трель — де Лючиа или де Лукка, — и он вам ответит правильно.

Одним словом, именно в таком месте, как наш Монте-Кастро, и должно было случиться то, что случилось с Джулио Фератерра. А началась вся эта история во время последнего концерта, в 1960 году.

Этот Джулио, надо вам сказать, был парень как парень и отличался от других только тем, что среди всех одержимых музыкой жителей нашего городка был самым одержимым.

Несколько человек в Монте-Кастро имеют радиоприемники: нотариус, мэр города, трактирщик и еще двое-трое. Обычно по вечерам, если передают хороший концерт, владелец приемника выставляет его на окно. Кругом собирается народ. Одни слушают молча, другие подпевают, третьи шумно восторгаются. Но никто не умел слушать музыку так, как Джулио Фератерра.

Вы понимаете, при первых тактах какой-нибудь канцонетты он застывал на месте как несгораемый шкаф. Можно было его окликнуть, толкнуть — он только отчужденно оглядывался на вас. Он не слушал музыку, он жил ею. Подойдя к нему в такой миг, вы чувствовали, что все его тело, каждый нерв поют в тон тому, что он слышит. Иногда он выходил из неподвижности, приподнимал руки и не то чтобы дирижировал, что любят делать некоторые, а как бы ласкал звуки и пытался нащупать в воздухе пальцами их бегущие очертания.

Эта страсть приносила ему много неприятностей. Вообще он был парень ладный и ловкий, и за веселый нрав и старательность его охотно брали на работу лавочники и мелкие местные помещики. Но часто дело кончалось скандалом, так как, отправляясь по какому-нибудь поручению, он порой вовсе не приходил в нужное место, заслушавшись по дороге музыкой.

Даже со своей любимой девушкой Катериной он постоянно ссорился из-за этого же самого.

Так вот, можете себе представить, синьор, как этот Джулио должен был ждать очередного концерта. Еще за год он стал готовиться к тому, чтобы проникнуть на виллу. Сначала ему удалось поступить в парк садовником. А перед самым съездом певцов, в августе, его назначили в театре помощником осветителя. Таким образом, мечта его сбылась, он мог рассчитывать, что увидит и услышит все.

Вы, наверно, слышали, синьор, что «концерты Буондельмонте» шестидесятого года носили не совсем обычный характер. Владелец театра решил, кроме итальянских певцов и музыкантов, пригласить иностранцев. Из Америки приехали негритянка Мариан Андерсон и дирижер Стоковский. Из Франции — Моника Пониколь. Из вашей России, синьор, — красавица Зара Долуханова. Но Италия тоже была прекрасно представлена. На сцене выступал хор мальчиков из Милана, пели Анелли и, конечно, Мариодель Монако, яркая звезда которого уже поднялась к этому времени в зенит.

Билеты продавались по совершенно фантастическим ценам, но зал был всякий раз полон. Наша гостиница мала, поэтому большинство слушателей каждое утро приезжали на автомобилях прямо из Рима. Чудной народ собрался, я вам скажу. Не знаю, возможно, эта мода распространилась и раньше, но тогда мы в первый раз увидели женщин с волосами, выкрашенными в разные нечеловеческие цвета. Серьезно, синьор, одна американка ходила на концерты с шевелюрой ярко-зеленого цвета.

Но все это неважно. Джулио, как и мне, впрочем, удалось послушать почти все выступления. И в тот день, когда пел Монако, Джулио познакомился с бельгийцем. Вернее, бельгиец сам подошел к нему.

Понимаете, дело было так. Во время выступления Монако Джулио сумел пробраться в зал. Он стал там за последним рядом кресел. Монако начал петь, и Джулио, увлекшись и не замечая этого сам, сделал несколько шагов вперед по проходу, затем еще несколько и наконец оказался посреди зала. Монако исполнил первую вещь — арию Турриду из «Сельской чести» Масканьи. Аплодисменты. Еще ария, снова овация. А Джулио стоял окаменелый и даже не аплодировал. На него стали обращать внимание. Люди оглядывались, перешептывались, пожимали плечами. Кто-нибудь другой, может быть, почел бы себя оскорбленным, но Марио дель Монако, столь же великолепный человек, сколь и певец, понял состояние своего слушателя и перед заключительной арией приветственно помахал ему рукой.

Но вот последняя вещь была спета, занавес упал при громе аплодисментов. Публика поднялась и начала по центральному проходу выходить из зала. А Джулио все стоял как завороженный. Разодетые дамы и господа обходили его, косились, а он ничего не замечал.

И тут я увидел, что с Джулио заговорил тот бельгиец.

Я хорошо запомнил его. У него было круглое лицо, как будто обведенное циркулем. Маленькие серые глазки в очках без оправы и тонкие прямые губы. Нехорошее лицо, синьор. Если когда-нибудь встретите человека с таким лицом, берегитесь — он принесет вам несчастье.

Я видел, как бельгиец заговорил с Джулио, — они вместе стояли в проходе и вместе мешали публике выходить из зала. Потом бельгиец взял Джулио под руку, отвел в сторону. Они вышли из фойе, сели за столик в буфете и просидели там весь антракт. Джулио выглядел очень серьезным, бельгиец что-то говорил, а Джулио кивал ему.

И в тот же вечер Джулио исчез из города.

Я об этом узнал от Катерины. Девушка прибежала ко мне, потому что мы с Джулио немножко дружили, несмотря на разницу в летах. Одно время он даже работал у меня в парикмахерской. Но какая это работа, синьор, если за день приходят три человека, причем один вовсе не бриться, а одолжить головку лука до субботы…

Так вот, Катерина пришла ко мне, и она была чернее ночи. Сказала, что и прежде они с Джулио ссорились, но после такого поступка она и знать его не хочет. Понимаете, он оставил дома записку и уехал. Всего два слова: «Не беспокойтесь, вернусь». Но куда? Зачем? А в доме старая больная мать и три сестры, из которых старшей всего тринадцать лет.

Девушка была ужасно обозлена. Я успокоил ее как мог. Потом прошло целых три месяца без каких-либо известий. В городе решили, что Джулио уехал вместе с бельгийцем в Бельгию. И вдруг письмо на имя Катерины. Совсем коротенькое. Джулио писал, что лежит в Риме, в частной клинике на Аппиевой дороге, и просит ее, Катерину, приехать и взять его оттуда.

С этим письмом девушка снова явилась ко мне. Я спросил, поедет ли она, но у нее был уже взят билет на автобус.

Целый день мы с матерью Джулио и его сестрами тряслись от страха, а вечером с последним автобусом наш беглец вернулся в сопровождении Катерины. Почти весь городок встречал его. Он сошел с подножки на костылях, и девушка поддерживала его. Он был белый как снег, синьор. Позже Катерина рассказывала, что, войдя в палату клиники, она сначала увидела на подушке только его черные глаза и черные волосы. Так он был бледен.

Мы проводили его в дом, где он жил, и там он рассказал, что с ним произошло. Бельгийский хирург сделал Джулио операцию. Эта операция должна была дать ему прекрасный голос и действительно дала его. Джулио Фератерра уехал в Рим три месяца назад безголосым, а вернулся с сильным и звучным голосом, которому могли бы позавидовать лучшие певцы Италии.

Но что это была за операция, синьор? Что сделал с Джулио бельгийский хирург?

Вот тут-то и начинается важное.

Синьор, скажите мне, от чего зависит голос? Почему у одних он есть, а другие его лишены? Почему это так, что у одного человека бас, у второго баритон, у третьего тенор? Почему, наконец, у того же баритона одни ноты получаются тусклыми и пустыми, а другие — певучими и бархатистыми?

Синьор, вы говорите, что не знаете, и это правильный ответ.

Обычно считают, что голос и способность петь зависят от особого устройства гортани и голосовых связок. О человеке с хорошим голосом даже говорят: «У него серебряное горло». Но так ли это? Действительно ли голос зависит от устройства горла? На самом ли деле этот чудесный дар есть результат случайного каприза природы, следствие особенной формы мускулов гортани и связок? Давайте подумаем. Ведь не говорим же мы, что способность рисовать, талант художника зависят от формы его пальцев или от устройства глаза. Глаза-то у всех одинаковые. Не говорим мы, что дар композитора — это результат особого устройства ушной раковины. Если бы все зависело от уха, музыкальные школы не следовали бы одна за другой, композиторы не учились бы друг у друга. Если б так, Шопен мог бы появиться прежде Рамо, а Люлли — после Бетховена. Но на самом-то деле создатели музыки перенимают мастерство один у другого и учатся у своего времени. Значит, синьор, дело не в устройстве уха, глаза или горла.

Нет и трижды нет! Если мы признаем способность петь за талант, а прекрасное пение — за искусство, дело тут не в горле. Талант к пению нужно искать не в глотке, а выше — в голове человека, в его сознании. То, что одни поют, а другие нет, зависит от мозга.

Именно это и понял бельгийский хирург. И, когда он задался целью сделать безголосому человеку голос, он со своим ножом приступил не к горлу человека, а к его голове.

Именно это и понял бельгийский хирург. И, когда он задался целью сделать безголосому человеку голос, он со своим ножом приступил не к горлу человека, а к его голове.

Уже позже, стороной, мы узнали, что это была не первая его попытка в этом роде. Ножом и шприцем он залезал куда-то в речевые центры, которые помещаются, если я не ошибаюсь, в левой лобной доле мозга. Алляр — фамилия бельгийца была Алляр — хотел усилить деятельность этих центров и сначала, естественно, тренировался на животных, обрабатывая те места в их мозгу, от которых зависят рев или мычание. А потом перешел на людей.

Но, понимаете, это очень сложная штука. Тут же поблизости у человека помещаются центры дыхания, кашля, тошноты и всякие другие. Поэтому не мудрено задеть и их. Одним словом, две первые операции получились у него неудачными, и тогда Алляр стал искать себе третьего добровольца.

Вас может удивить, синьор, но этот человек, бельгиец, совсем не любил ни музыки, ни пения. И научная сторона вопроса его не очень интересовала, хотя он был выдающимся хирургом. Алляр любил деньги. Был богат, но хотел стать еще богаче. План его был прост. Он выучивается делать людям голос и открывает специальную клинику. Одна операция — тридцать тысяч долларов (он рассчитывал именно на богатых людей, на миллионеров). Несколько лет такой работы, и он не беднее Рокфеллера. Он был жестокий и решительный человек, и две первые неудачи не остановили его.

К нам на «концерты Буондельмонте» бельгиец приехал, чтобы присмотреться получше к богатым любителям музыки. Увидев, как Джулио слушает пение, он понял, что парень может стать его третьим пациентом.

Они составили договор о том, что, получив голос, Джулио будет выступать только с разрешения хирурга. Алляр предупредил, что операция будет нелегкой и опасной. Потом Джулио лег в клинику, бельгиец сделал то, что хотел, и после три месяца ставил его на ноги (у Джулио почему-то получился частичный паралич, и затем он навсегда остался хромым).

Но голос действительно родился, синьор. Прекрасный, сильный голос. Нож хирурга попал на какие-то нужные центры и сделал чудо.

Когда Джулио начал ходить, было устроено испытание. Парня привели в комнату, где стоял рояль. Алляр потребовал, чтобы он запел. Потом бельгиец выслушал его, еще совсем слабого и больного, и в бешенстве, со страшными проклятиями, выбежал вон.

Почему? Да потому, что у Джулио не было музыкального слуха. Он страстно любил музыку, жил ею, но не имел слуха. Теперь, в результате операции, у него родился чудесный по тембру могучий голос, но он открыл рот и заревел этим голосом, как осел…

…Что ты говоришь? Что? Что тебе нужно, Джина?.. Простите, синьор, это моя жена. Ее зовут Джина… Так что тебе нужно?.. Мыло? О каком мыле идет речь?.. Я намылил синьора и мыло уже высохло?.. Ах, это!.. Извините, синьор! Действительно, мыло высохло. Сейчас, сейчас, я все сделаю. Вот полотенце. Сейчас я намылю снова и добрею вас… Извините, пожалуйста…

Так о чем я говорил? О том, что у Джулио не было музыкального слуха… Простите, вот так немножко голову… У него не было слуха, и бельгиец, который затратил деньги на операцию и содержание парня в клинике, оказался как бы в дураках. Когда хирург пришел в себя и оправился от своей вспышки гнева, он сказал, что дает Джулио полгода, чтобы выучиться петь. После этого срока Джулио должен был предстать перед теми людьми, которых соберет бельгиец, и продемонстрировать свое искусство. Затем врач уехал к себе на родину, а Джулио, как вы знаете, вернулся в Монте-Кастро.

Но что такое слух, синьор? И какое он имеет значение для занятий музыкой?

Чтобы ответить на этот вопрос, разрешите мне сказать вам, как я понимаю саму сферу музыки. Что она есть? Можем ли мы утверждать, что музыка — это лишь красивые и приятные уху сочетания звуков?

Синьор, вы никогда не задумывались над тем, отчего такое чистое и сильное волнение овладевает нами при первых звуках Шопеновой Третьей баллады или какой-нибудь другой вещи любого из великих композиторов? Вот вы сели в кресло в концертном зале. Погасли огни. Стихают разговоры в публике и шепот в оркестре. Наступает глубокая и прекрасная тишина. Мгновение ожиданья. Как будто некий огонь зажегся в сердце дирижера, рука поднята, искра мелькает между ним и оркестром. И вот возник полный ре-минорный аккорд, звуки валторн, зовущие в поход… яростный порыв ветра… И мы уже унесены. Нет зала, кресел, пригашенных люстр. Уже отлетели все мелкие заботы, душа очистилась, и вместе со всем человечеством мы вступаем в великий бой со злом и неправдой, как нас ведет Бетховен на страницах своей Девятой симфонии.

Отчего это так, синьор?

Я вам отвечу на этот вопрос, сказав, что музыка — это небо над всеми искусствами. Нечто такое, что объединяет людей друг с другом. Музыка — самое человечное из искусств. Вы понимаете, художник рисует картину, но то, что он нарисовал, я мог никогда и не встречать в жизни. Писатель описывает событие, однако со мной ни такого, ни близкого с этим могло никогда и не случаться. Но композитор рисует только чувства, а чувствуем мы все, синьор.

Другими словами, музыка — это то, что поет в нашем сердце и ищет выхода. А если это так, то слух, музыкальный слух, которым каждый настройщик роялей владеет даже в большей степени, чем композитор, слух, являясь моментом чисто техническим, я бы даже сказал — медицинским, не можем иметь в ней решающего значения. Владея даром к музыке, не так уж трудно выработать слух.

Одним словом, синьор, я взялся учить Джулио пению.

Я немного музицирую, и дома у меня есть инструмент. Не рояль, а челеста. Вон там она стоит, в задней комнате. Челеста похожа на небольшое пианино, но меньше — в ней всего четыре октавы. Звук извлекается не из струн, а из металлических пластинок и чрезвычайно нежен. Нежный, небесный звук, и поэтому сам инструмент называется celesta, то есть «небесная». Вас может удивить, откуда у бедняка парикмахера такая дорогая вещь. Но дело в том, что мой дед состоял в оркестре у старого графа Карло Буондельмонте, а тот, когда умирал, завещал все инструменты тем оркестрантам, которые на них играли.

Так вот, когда Джулио в тот вечер, лежа на постели, рассказал нам свою историю, я тут же, не сходя с места, пообещал сделать из него певца. Конечно, я всего лишь дилетант, синьор, но имейте в виду, что только на иностранных языках это слово приобрело неприятный и даже ругательный оттенок. По-нашему, по-итальянски, дилетант означает «радующий», тот, кто радует людей своим искусством, своей преданностью музыке или живописи.

Когда Джулио немного отдохнул, Катерина каждый вечер стала приводить его ко мне. Было что-то трогательное, синьор, в этой парочке. Он — высокий, худой, зеленый, с трудом волочащий ноги, и она, Катерина, загорелая, крепкая, пышущая энергией и здоровьем. Целые дни она работала на огородах, почти от зари до зари, но к вечеру у нее еще оставались силы, чтобы обстирать маленьких сестренок Джулио и вымыть пол в их каморке. Молодость, синьор.

Все глаза смотрели на них с симпатией, и каждый желал им успеха. Сперва Джулио ходил на костылях, но позже ему сделалось лучше, и он только опирался на палочку.

Мы начали с нотной грамоты и сидели на этом около трех недель. Одновременно я ему показал интервалы: прима, секунда, терция… И примерно через месяц взялись за сольфеджио. Он пел по нотам, а я поправлял. Голос, открывшийся у Джулио в результате операции, был сначала высоким баритоном, который у нас зовется «баритоном Верди», поскольку все оперы композитора требуют именно такого голоса.

Слух развивался у него удивительно быстро. Однажды, на втором месяце обучения, он поразил меня тем, что, послушав предыдущим вечером по радио «Прелюды» Листа, на другой день подхватил главную тему в ми-миноре и повторил ее на нашей челесте верно почти всю целиком.

Но голос и слух, синьор, — это одно, а искусство петь — другое. Вы понимаете, он не умел держать звук. У него был великолепный голос без провалов, без тусклых нот, ровный и сильный, как в верхах, так и в середине, но стоило ему взять звук, верный, чистый и хорошо интонированный, как он тотчас бросал его, соскальзывая во что-то непотребное.

Между тем в чем же состоит bel canto, наше итальянское «прекрасное пение»? Именно в умении держать звук по-особому. В этом его отличие от неискусного пения. Вы берете звук музыкальной фразы и держите его, не бросая и не уменьшая силы, до момента наступления по темпу второго звука. Этот второй вы берете сильнее и держите до третьего. Третий еще сильнее, и так до самого сильного места, а потом тем же порядком вниз. Тогда и получается цельная, скрепленная во всех частях музыкальная фраза. Только тогда вы и поете не отдельными словами, а фразами.

Как раз этому я и стал учить его. Но как, синьор? Что значит «учит петь»? Отвечу вам на этот вопрос, сказав, что лично я попросту пел вместе с Джулио. В музыкальных школах существует термин «ставить голос». Там обучают, как образовывать звук, как выталкивать воздух через голосовые связки, как добиваться, чтобы их дрожание резонировало в груди и в верхних резонаторах. Но все это не внушает мне доверия. Вы же не можете сказать себе во время пения: «Ну-ка, я сейчас натяну голосовые связки и поверну их вот этак…» Попробуйте спеть что-нибудь, думая о том, как держать гортань, и вы станете мокрым через две минуты…

Короче говоря, мы просто пели. Мы пели вместе, а потом он пел один, а я поправлял его. Или я пел, а он слушал.

Конечно, у нас были большие разочарования, синьор. Целых два месяца у Джулио ничего не выходило. Хотя слух развился скоро, но это был слух, так сказать, «в уме», и парню никак не удавалось перевести его в голос. Он раскрывал рот, и после первой верной ноты раздавалось такое, что хоть беги из комнаты. Порой он подолгу сидел бледный, кусая губы, по лбу у него стекал пот, и мы старались не смотреть друг на друга.

Но позже, на третий месяц, что-то стало вырисовываться. Что-то стало прорезываться, синьор. В хаосе фальшивых тонов начали иногда проскальзывать верные, и это было как явление бога. Потому что голос-то был божественный.

А потом пришел день. Один из лучших дней моей жизни. Вот и сейчас слезы навертываются у меня на глаза, когда я вспоминаю о той минуте.

Мы разучивали ариозо Канио из «Паяцев». Вы, конечно, помните то место оперы, когда несчастный Канио узнает об измене Недды. Канио уже не молод, он зрелый, стареющий мужчина, и это придает его страданию особенно сильный характер. Он клоун, паяц, то есть представитель презираемой профессии, но в то же время самостоятельность его ремесла воспитала в нем и гордость и достоинство. Канио боготворил молодую жену, и вдруг он застает ее с любовником. Его горе не поддается описанию, но он не может даже побыть со своим несчастьем один. Через несколько минут в балагане начнется представление, где Канио должен играть роль обманутого глупца супруга, то есть надсмеяться надо всем тем, что рыдает сейчас в его сердце…

Я проиграл на челесте вступление — там совсем маленькое вступление. Джулио выглядел задумавшимся, он молчал. Я окликнул его, он бросил на меня взгляд, и как будто огонь сверкнул в воздухе.

Джулио открыл рот и запел:

Играть… Когда точно в бреду я…

И он спел это верно, синьор! В первый раз верно! Но как спел!

Синьор, мы посмотрели друг на друга, и слезы выступили у нас на глазах. Мы заплакали.

Вы понимаете, это был день как день. Мы сидели вон в той захламленной комнатушке. За стеной сосед-сапожник стучал молотком, на улице женщина у колонки споласкивала ведро. Все было как обычно, и вдруг в эту обыденность вошло что-то большое, огромное. Все вокруг изменилось, и мы уже были не те. Такова сила искусства. Как будто мы поднялись высоко-высоко и поняли что-то о нас самих прекрасное и глубокое.

Одну-единственную фразу он спел верно, но это было как если бы все на этой земле, кто любил и был обманут в своей любви, вдруг получили голос и позвали нас к жалости и состраданию.

Играть… Когда точно в бреду я, Ни слов и ни поступков своих не понимаю…

Это уже не Джулио пел. Это пела вся жизнь нашего маленького городка и сотен других таких же городков. Наша бедность, мечты, горести и наши надежды на счастье. И уже не моя челеста аккомпанировала пению, а невидимый огромный оркестр исполнял великую музыку Леонкавалло.

…Что такое? Что тебе опять?.. Извините, синьор… Что ты сказала — бритье? Какое бритье? Черт меня побери, женщина, но ты превышаешь свои права! О каком бритье ты говоришь, когда речь идет о музыке?.. Я не добрил синьора? И что же? Да синьор вовсе и не думает о бритье… Синьор, простите. Действительно, это бритье нам только мешает. Разрешите, я вытру вам лицо. А потом, позже, мы все это кончим… Вот так… А теперь садитесь удобнее и слушайте…

Так на чем я остановился? Я рассказал вам, как Джулио впервые начал петь верно. А после этого, синьор, пошло. Как лавина. С каждым днем фальшивых нот становилось меньше, и наконец они исчезли совсем. А голос, голос продолжал расти, и его диапазон расширялся на глазах. Сначала это был высокий баритон, а потом он дошел до полных трех октав. Вверх — до тенора, так что Джулио мог брать вставную ноту в песенке герцога из «Риголетто», а вниз — до хорошего «си».

Я совсем забросил парикмахерскую, признаюсь вам. Да и до того ли было, когда рядом рождалось такое чудо. Целые дни мы пели, и, конечно, городок тотчас узнал о свершившемся. Вечерами вот здесь, под окнами, собиралась толпа, а позже люди стали стоять с полудня, причем некоторые приходили за десять — пятнадцать километров. Это был такой пленительный голос, синьор, и Джулио так быстро удалось выработать поражающий нас всех и неизвестно откуда взявшийся артистизм, что парня буквально окружили поклонением. Стоило ему выйти из дому, как навстречу бросались люди с одним только желанием — пожать ему руку, прикоснуться к нему.

Я совсем забросил парикмахерскую, признаюсь вам. Да и до того ли было, когда рядом рождалось такое чудо. Целые дни мы пели, и, конечно, городок тотчас узнал о свершившемся. Вечерами вот здесь, под окнами, собиралась толпа, а позже люди стали стоять с полудня, причем некоторые приходили за десять — пятнадцать километров. Это был такой пленительный голос, синьор, и Джулио так быстро удалось выработать поражающий нас всех и неизвестно откуда взявшийся артистизм, что парня буквально окружили поклонением. Стоило ему выйти из дому, как навстречу бросались люди с одним только желанием — пожать ему руку, прикоснуться к нему.

Другой возгордился бы на его месте, но Джулио был скромным человеком и понимал, что здесь нет его заслуги.

А потом мы поехали в Рим, чтобы проверить свои силы, так сказать, на «всеитальянской арене». Как вы догадываетесь, я стал его импрессарио.

В Риме на Виа Агата помещается музыкальный театр братьев Анджелис. Если вы знаете город, синьор, так это недалеко от моста Мильвио, но не в сторону стадиона, а к вокзалу. Там еще идет подряд несколько улиц, которые называются в честь разных исторических битв.

Так вот, 1 января прошлого года мы приехали в Рим рано утром на автобусе, трамваем добрались до моста, а оттуда пошли пешком. Театр помещается на самой середине Виа Агата, и у нескольких домов там — до театра и после него — стояли у стен большие полотняные щиты с рекламой.

Джулио я оставил внизу на диване, а сам поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Там было такое роскошное фойе с лестницей, что мне подумалось, что и тут можно устраивать концерты. Хотя было еще рано, здание кишело народом — рабочими сцены, оркестрантами, собравшимися на репетицию, осветителями…

У кабинета директора за столом сидели две дамочки в беленьких кофточках и оживленно болтали. Я подождал минуту, потом еще две. Наконец одна холодно посмотрела на меня и спросила, что нужно. Я ответил, что должен повидаться с директором.

— По какому делу?

Я объяснил, что хочу предложить исполнителя, певца.

— По этим вопросам директор не принимает.

— Но у меня прекрасный певец…

Интересно, что, когда она разговаривала с подругой, лицо ее было приятным и красивым, но стоило ей повернуться ко мне, как оно сделалось злым и холодным, как ледяная скала.

— Ну что вы еще хотите! Я вам говорю, мы никогда не прослушиваем певцов. К нам приходят уже с именами.

Что делать? Я набрался решимости, быстро прошел мимо стола и открыл обшитую кожей дверь в кабинет.

Удивительный человек был этот Чезаре Анджелис, доложу вам. Ни секунды он не мог усидеть спокойно. Я начал поспешно рассказывать ему про Джулио, а он поминутно поправлял что-нибудь на столе, перекладывал с места на место карандашики или календари, вскакивал, бежал к окну задернуть штору, садился и сразу опять поднимался, чтобы ту же самую штору вернуть на прежнее место. И при этом совсем не смотрел на меня. Ни разу даже не взглянул.

Затем он вдруг остановился, глядя в окно.

— Как фамилия вашего певца?

— Я уже говорил вам. Его зовут Джулио Фератерра.

— Но я не знаю такого.

— Да вы никак и не можете знать. Я же объяснил, что только недавно…

Но он не дал мне договорить.

— Послушайте, сор. («Сор» — это сокращенное от «синьор». Так говорят в городе.) Послушайте, сор, у вас лицо умного человека. Вы знаете, сколько в Италии людей, которые воображают, что поют не хуже Карузо? Миллион. Но мы не можем их слушать. Нам нужны имена. Понимаете, к нам приходят имена, а потом мы уже спрашиваем, как они поют; Идите.

— Как — идите?

— Так и идите.

— И вы не будете прослушивать моего певца?

— Ни за что.

Черт возьми! Я встал с кресла, выбежал из кабинета, спустился вниз и поднял Джулио с дивана.

— Пой!

— Где? Здесь?

— Да. Прямо здесь. Они не хотят нас слушать.

Он посмотрел на меня. Его уставшее лицо еще больше обострилось. Он вышел на середину фойе, оперся на палочку, набрал в грудь воздуха и запел.

Синьор, такие минуты стоят целой жизни.

Джулио запел Элеазара из оперы «Дочь кардинала». Мне кажется, Галеви создал эту прекрасную арию, чтобы тут же, мимоходом, намекнуть и на удивительные возможности речитатива. Вы помните, она начинается мерными, как бы раскачивающимися ритмами и будто бы не представляет трудностей, не обещает той певучести, которая заключена во второй ее части. Но потом, потом…

Он запел, и мощный звук его голоса поднялся сразу до стеклянной крыши фойе — туда, на третий этаж, — и вернулся многократно отраженный.

Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем…

Он пел, и на лестнице остановилось движение. Кто бежал, шел, спускался или поднимался — все остановились и прислушались. Потом они стали подходить к перилам, перевешиваться и молча смотреть вниз на Джулио.

Ария большая. Он спел ее, воцарилась тишина. И затем Джулио сразу начал герцога из «Риголетто». Понимаете, какие разные вещи: Элеазар — это драматический тенор, а герцог — тенор лирический, причем самый высокий, светлый.

Я уже говорил вам о вставном «ля» в песенке герцога. Другие певцы обычно не задерживаются на ней, проходят, едва упомянув. Только в вашей России Козловский мог даже филировать на ней. И представьте себе, Джулио, с которым мы несколько раз по радио слышали Козловского, решил здесь, в фойе, повторить его. Он взял это «ля», довел его до forte, так что оно как бы иглой пронзило все здание снизу вверх, а потом ослабил до piano, пустив по самому низу, по полу.

Джулио кончил. Миг безмолвия, а затем шторм аплодисментов. Буря! Все-все на лестнице побросали кто что нес, освободили руки и хлопали, хлопали. А по ступенькам уже бежали Чезаре Анджелис, обе дамочки в кофточках с такими улыбками, с таким восторгом на лицах…

Короче говоря, синьор, был заключен контракт на три выступления. Уже позже, в автобусе, возвращаясь, мы поняли, что нас обманули, так как Джулио получал за вечер лишь по тридцать тысяч лир — столько, сколько маляру платят за побелку квартиры. Но это нас не особенно огорчило в тот момент. Главное, что мы были признаны.

Нечто более серьезное, между тем, ожидало нас дома. Когда мы примчались в каморку Джулио, рассказать его родным и Катерине о своем успехе, нам показали телеграмму от бельгийца. Хирург приехал в Рим и вызывал Джулио к себе.

Синьор, пока я рассказывал о том, как Джулио учился петь, я мало говорил о бельгийском хирурге, и у вас могло создаться впечатление, что мы вовсе забыли о нем. Это не так. Алляр постоянно был в наших мыслях, и у нас было такое чувство, будто у него взят аванс и расплачиваться придется очень дорого. Как если бы Джулио продал душу дьяволу, который не преминет унести ее в конце концов в ад.

Вы назовете это неблагодарностью. Между тем Джулио чувствовал благодарность к врачу, но с ней было смешано и другое. Какой-то страх, что ли. Во-первых, он вызывался странным характером самой операции. У парня был теперь голос, но в то же время голос как бы и не его. Что-то пожертвованное, свалившееся на Джулио случайно, как выигрыш в лотерее.

И, во-вторых, личность самого Алляра.

В этом человеке было нечто не то чтобы злое, но бездушное. Позже мне пришлось встретиться с ним, и я заметил одну особенность. Начиная с кем-нибудь разговаривать, бельгиец как бы обезличивал этого человека, вынимал из него индивидуальность и отбрасывал в сторону. Для него люди были не люди, а пациенты, шоферы, официанты, миллионеры или бедняки. И Джулио для него был не наш Джулио Фератерра, парень из Монте-Кастро и жених Катерины, а лишь живой материал для опыта.

Короче, я почувствовал в тот вечер, что Джулио испугался вызова. Мы принесли вина, Катерина собрала на стол и вся сияла оживленьем и радостью. У дверей и во дворе толпились те, кто не поместился в доме, ждали, что Джулио будет еще петь. А он сидел задумчивый и сосредоточенный.

Потом он мало рассказывал об этом свидании. Алляр встретил его в той же клинике на Аппиевой дороге. Джулио прошел самый тщательный медицинский осмотр, в котором участвовало около десяти врачей. Было составлено несколько протоколов. Затем бельгиец сказал, чтобы Джулио был готов выступить перед группой людей, которые будут нарочно для этого приглашены в театр Буондельмонте, и они расстались.

Алляр даже не попросил Джулио спеть. Его удовлетворило то, что он узнал о будущих выступлениях у братьев Анджелис.

Не стану рассказывать вам, как прошел этот первый концерт на Виа Агата. Хотя публика собралась случайная, но был успех. Успех настолько разительный, что он позволил владельцам театра устроить ловкую штуку. Они повесили в кассах объявление и опубликовали в газетах, что билеты на второй концерт будут равны десятикратной стоимости первого, а билеты на третий, последний, — в десять раз дороже второго. Сразу начался ажиотаж, часть билетов была припрятана, и вовсю развернулась спекуляция.

Концерт мы с Катериной слушали из зала. Уже не я был аккомпаниатором Джулио, а человек, которого дали в театре. Некий Пранцелле, профессор из консерватории.

Когда все кончилось, мы хотели пройти в уборную к Джулио. Но комната и коридор возле нее были полны самоуверенными, хорошо одетыми мужчинами и изящными дамами в дорогих платьях. Все они были молоды или казались молодыми. Мне вдруг стало неловко за свои шестьдесят лет и морщины на лице, за потрепанный, вытершийся костюм. И Катерина, я заметил, застыдилась своих обнаженных сильных загорелых рук, загорелой шеи и всего того, что в Монте-Кастро было красивым, а здесь выглядело грубым и простым.

Мы постояли в коридоре, не смешиваясь с толпой, потом какой-то служитель театра спросил, что мы тут делаем, и мы вышли на улицу. Было совсем темно, моросил дождь, далеко за насыпью, в конце Виа Агата, сияли огни стадиона «Форо италико» — там шла какая-то игра. А тут, у театра, было пусто и тихо, зрители уже разошлись. На полотняных щитах повсюду чернели буквы: «Фератерра! Фератерра!»

Мы стояли и ждали Джулио. Мы с Катериной молчали, и почему-то мне казалось, что кончился первый акт драмы и теперь начнется второй…

Синьор, даже внешний вид нашего сонного Монте-Кастро стал другим после этого концерта. Ежедневно наезжали корреспонденты из Рима, встретить незнакомого человека на улице уже не было редкостью. По вечерам на почту приходили столичные газеты, и чуть ли не в каждой мы могли читать: «Загадка из Монте-Кастро», «Тайна Монте-Кастро», «Звезда из Монте-Кастро»…

Сперва мы с Джулио еще занимались некоторое время, но, честно говоря, мне уже нечего было ему дать. Напротив, я мог бы и сам от него узнать многое. Совершенно самостоятельно он научился во время пения дышать грудью, а не животом, атаковать звук, пользоваться как грудным, так и головным регистрами. Техника пения сама шла к нему, она естественно возникала из потребностей выразительности.

Потом, в начале февраля, в Монте-Кастро приехал Алляр и остановился на вилле Буондельмонте. Он взял Джулио к себе и поселил его в двух комнатах охотничьего домика в парке, снятых по договоренности с молодым графом. Пока Джулио проходил особый курс лечения, чтобы избавиться от хромоты, сам хирург списывался с теми любителями пения, с которыми познакомился на последнем «концерте Буондельмонте». Он списывался с богатыми людьми, с миллионерами, и звал их приехать в Монте-Кастро к назначенному дню послушать здесь нового великого певца.

Так минуло два месяца, и только редко я видел Джулио. Почему-то, синьор, он стал удивительно красивым, этот наш простой парень. Можно было залюбоваться, когда он, высокий, прямой, в черном, хорошо сшитом скромном костюме, брел по улицам нашего городка навестить родных. Он так и остался бледным, но это была уже не та послеоперационная бледность от большой потери крови. Что-то другое. Мне даже трудно передать это. Бледность напряженной умственной работы, что ли. Бледность решимости и внутренней силы.

Он был молчалив, на миг оживлялся, когда к нему обращались, на миг его лицо освещалось улыбкой, и он снова впадал в задумчивость.

А талант его между тем рос. Один раз за это время он вечером спел дома, в нашем маленьком кружке, и мы были потрясены тем, что это было уже совсем другое — не то, что в моей парикмахерской, и не то же, что было на концерте в Риме. Голос его темнел и наполнялся содержанием. Это с трудом поддается объяснению словами, а воспринимается лишь ухом и, скорее, сердцем. Но раньше, когда Джулио только начинал петь, у него был светлый баритон. Теперь же он стал темным и знойным. Жгущим. Но не открытым огнем, как может обжечь фальцет, например, а мощью внутреннего жара. Мощью, которая сразу забирает тебя всего.

Интересно, что о его голосе можно было судить, даже когда он не пел, а просто разговаривал. Стоило Джулио произнести несколько слов, и вас уже покоряли интонированность и задушевность его речи.

Мы все говорим некрасиво, синьор, и сами не замечаем этого. Мы привыкли. Слова служат для передачи друг другу мыслей. А если нам нужно выразить чувство, мы опять-таки достигаем этого не тональностью речи, а подбором специальных слов. Джулио же не только передавал мысли, но благодаря своему голосу окрашивал каждое слово, расширял его содержание и вместе с этим словом сообщал вам целый рой новых образов и чувств…

Но, так или иначе, время шло, в Рим и на виллу Буондельмонте съезжались те, кого пригласил Алляр. И настал наконец день, когда Джулио должен был выступить перед избранной публикой. День, который был главным для бельгийца.

Но, так или иначе, время шло, в Рим и на виллу Буондельмонте съезжались те, кого пригласил Алляр. И настал наконец день, когда Джулио должен был выступить перед избранной публикой. День, который был главным для бельгийца.

Собралось много народу, синьор. Но, если вдуматься, это не покажется удивительным. Для богатого человека, чье время расходуется между завтраками и обедами, поездками на яхте и кутежами, возможность побывать на серьезном концерте представляется какой-то видимостью дела. И, чем больше расходов требует это начинание, тем сильнее крепнет в богаче уверенность, что он не просто развлекается, но поддерживает искусство и даже участвует в процессе его созидания.

Сначала прослушивание хотели сделать в репетиционном зале, вмещающем человек двадцать. Но собралось около сорока, концерт перенесли в главный зал, и публика заполнила там целых три ряда.

Аккомпаниатор, тот самый Пранцелле, сел за инструмент, Алляр со своим ассистентом заняли места в первом ряду, а мы, то есть Катерина, моя жена и еще несколько горожан, которым это было позволено, устроились за кулисами.

И вышел Джулио.

Синьор, вам может показаться странным, но в те мгновения, пока Джулио шел к роялю, я почувствовал в душе полную убежденность, что идея бельгийца ложна, что путем операции невозможно дать человеку голос (хотя голос у Джулио был и появился именно в результате операции; тут, конечно, противоречие, но позже вы поймете, в чем его смысл).

Надо было видеть, как Джулио вышел тогда из-за кулис, как он подошел к роялю, стал возле него и посмотрел на публику!

Он появился прямой, бледный, чуть прихрамывающий, но так, что это было заметно только знающим людям, и наполнил зал ощущением серьезности и благородства. Это было как гипноз, синьор. Какое-то удивительное обаяние исходило от него, токи прошли между ним и собравшимися, все лица стали серьезными, умолкли шорохи и разговоры, и разом установилась тишина.

Он очаровывал и возвышал людей просто сам собой. Конечно, слушатели ожидали необыкновенного — ведь некоторые даже пересекли океан для этого концерта. Конечно, все читали в газетах о «Тайне Монте-Кастро» и о «Загадке из Монте-Кастро». Но дело было еще и в поразительном артистизме Джулио, и в его удивительной сумрачной красоте. Женщины — и молодые и старые — просто не могли оторваться от него, они пожирали его глазами, и я заметил, как Катерина рядом со мной побледнела под загаром и закусила губу, увидев эти взгляды.

Начался концерт. Джулио исполнил несколько вещей, встреченных восторженными овациями. Затем на сцену поднялся бельгиец, попросил тишины и сказал, что голос, который здесь только что слышали, дивный голос Джулио Фератерра, не является врожденным даром, а получен с помощью операции, выполненной им, Алляром. После этого ассистент бельгийца прочитал несколько документов — заявление самого Джулио, протоколы врачей и свидетельство мэра нашего Монте-Кастро о том, что прежде, до операции, у Джулио не было никаких способностей к пению.

Далее бельгиец кратко рассказал о научных основах своего открытия и заявил, что за известное вознаграждение может каждого желающего наделить таким же, если не лучшим голосом.

Синьор, скажите мне, как вам кажется, сколько из съехавшихся на виллу миллионеров пожелало пойти на операцию?..

Вы правы, синьор, ни одного. Ни единого человека!

Это поражает, но, если вдуматься, именно такого исхода и следовало ожидать. Ошибка бельгийского хирурга состояла в том, что он не учел потребительского характера психологии богачей.

Пока Алляр рассказывал, как он пришел к своей мысли и как делал операцию, его слушали с некоторым интересом. Правда, главным образом мужчины. Женщины же просто во все глаза смотрели на Джулио, которого бельгиец почему-то оставил на сцене. Они смотрели на него, сидевшего с потупленными глазами, и у нескольких американок было такое выражение, какое бывает у детей, которые ждут, когда же кончатся надоевшие им нудные разговоры взрослых и можно будет потребовать понравившуюся игрушку.

Но, когда Алляр предложил записываться у него на операцию, его сразу перестали слушать.

Из-за кулисы мне хорошо был виден зал, и клянусь вам — все лица вдруг стали пустыми. И даже враждебными. Как будто бельгиец оскорбил их.

Понимаете, они готовы были аплодировать Джулио за его божественное пение и платить огромные деньги за право его слушать, они готовы были превозносить до небес и самого Алляра, но мысль, что они сами могут лечь на операционный стол, казалась им крайне неуместной и даже обидной.

Минуты шли за минутами. Алляр, коренастый, холодный, решительный, стоял на сцене и ждал отклика. И, наверно, ему постепенно становилось ясно, что его план рушился.

Какой-то полный молодой мужчина поднялся в зале. Нам показалось, он хочет предложить себя для операции. Но он, что-то бормоча про себя, стал пробираться между креслами к выходу.

В зале зашумели, и еще одна парочка встала. Какая-то женщина лет сорока в свитере тигриной расцветки подошла к самой сцене и начала в упор смотреть на Джулио. Глаза у нее были широко раскрыты, на лице написано восхищение, и она совершенно ничего не стеснялась.

Она что-то сказала по-английски, а Джулио продолжал сидеть опустив голову.

Тогда бельгиец, чтобы как-то спасти положение, объявил, что всем предоставляется возможность подумать до завтра. Завтра состоится еще концерт, после которого он, Алляр, будет ждать в своей комнате желающих.

Вся толпа приезжих тотчас было кинулась на сцену к Джулио. Я даже не пойму, зачем. То ли затем, чтобы поздравить его, то ли чтобы просто до него дотронуться, как дети любят дотрагиваться до понравившихся им вещей.

Но он сразу поднялся, ушел к нам за кулисы, и вместе с красной от негодования Катериной все мы отправились домой.

А на следующий день повторилась та же история: бешеные аплодисменты после каждой арии и гробовая тишина, когда концерт кончился. И уже двумя часами позже роскошные автомобили у парка Буондельмонте стали разъезжаться. Один за другим «ягуары», «Крейслеры» и «Понтиаки» брали направление на Рим и навсегда исчезали из наших глаз.

Таким образом, замысел бельгийца потерпел крах, крупные деньги, вложенные им в организацию концерта, снова пропали впустую. Позже служители на вилле рассказывали, что бельгиец один всю ночь ходил по саду, а утром, так и не ложившись, сел в машину и уехал римской дорогой.

Поскольку хирург внушал нам страх, нам хотелось верить, что мы его больше не увидим и Джулио будет оставлен в покое.

Но мы понимали, что надеяться на такой исход нельзя. В этом человеке было нечто сродни Мефистофелю, и всякое дело он доводил до конца — хорошего или плохого, все равно.

Несколько дней Джулио провел дома, и, скажу вам, это были лучшие дни. Каждый вечер он пел для наших горожан прямо на площади перед остерией. А если с утра небо бледнело и начинала дуть трамонтана, концерт устраивали внутри, в помещении. Одни сидели за столиками, другие — на столиках, а третьи стояли на полу, засыпанном опилками.

Счастливые часы, синьор! С утра, садясь за свой верстак, спускаясь в лавчонку или выходя в поле, каждый знал, что вечером он услышит Джулио. И мы стали лучше, чище, благороднее. Что-то очень человечное стучало нам в душу. Кто был озлоблен, смягчился, прекратились ссоры между мужьями и женами. Мы научились по-новому ценить и понимать друг друга.

Потом Джулио получил вызов от братьев Анджелис и уехал в Рим репетировать свою программу.

На втором концерте в театре я не был. Скажу только о двух характерных моментах, которые мне известны в передаче Катерины.

Когда Джулио начал петь и спел свою первую вещь — арию Шенье из одноименной оперы, — зал не аплодировал.

Вы понимаете, он спел — ни одного хлопка, ни звука. Гробовое молчание.

И Катерина, и моя жена, и, наверно, владельцы театра подумали, что певец провалился, хотя он спел блистательно. Но дело было не в этом. Просто слушатели сидели ошеломленные. Ждали многого, но никто не ожидал такого. Это было как откровение. Так сильно, так пленительно и вместе мужественно, что казалось святотатством нарушить безмолвие, в котором отголоском еще звучала заключительная фраза арии. Никто не решался аплодировать, и в этой напряженной и страшной тишине Джулио, испуганный, с исказившимся лицом, дал знак Пранцелле начать следующую вещь.

И второе. Когда зал уже пришел в себя и после каждой арии разражался бурей оваций, Джулио однажды, во время неистового шума и криков, обратился было к аккомпаниатору. Он хотел попросить, чтобы две арии были переставлены местами.

Так вот, едва он открыл рот, зал умолк. Огромный зал весь сразу. Люди подумали, что он начинает петь, и инстинктивно замолчали, застыли. Как если бы кто-то сдернул весь шум и грохот одним мгновенным могучим рывком. В течение десятой доли секунды.

И все это — когда публика уже знала, что у Джулио сделанный и как бы не свой голос. При том, что в нескольких газетах Алляр уже дал объявление, что может каждому сделать такой же тенор, как у Джулио Фератерра.

Тогда, в тот же вечер, Марио дель Монако и поднес Джулио букет цветов. Вам, наверно, попадалась эта знаменитая фотография. Она была и в «Экспрессе», и в «Унита», и вообще ее перепечатали все газеты мира.

Марио дель Монако поднялся на сцену, обнял Джулио, поцеловал и вручил ему огромный букет красных роз. Зал стоя рукоплескал им в течение целых четверти часа. Неудивительно. У меня выступили на глазах слезы, когда я услышал об этом.

Катерина рассказала мне все, но конец был печален. Выяснилось, что на следующий день после концерта Джулио по требованию Алляра снова лег в клинику на Аппиевой дороге.

Вы спросите зачем, зачем? Я задавал себе этот вопрос. Бельгиец объяснил Джулио, что хочет исследовать его. Общее состояние, деятельность высшей нервной системы и всякие такие вещи. Ну что ж, — исследовать так исследовать.

Но мы боялись другого…

Синьор, я забыл вам сказать, что, когда Алляр второй раз приехал в Монте-Кастро, ему не давали прохода те, кто тоже хотел получить голос путем операции. Люди готовы были отдать себя чуть ли не в рабство. Но бедняки, естественно.

И позже, в Риме, после этих объявлений в газетах толпа несколько раз штурмом брала дом, где остановился хирург, так что ему пришлось переехать и скрываться. Но опять-таки толпа бедняков. А из богачей, из тех, кто посещал «концерты Буондельмонте», не было ни одного.

Тогда Алляр заметался. Еще два раза он устраивал маленькие закрытые частные концерты в особняках района Париоли. Еще дважды он взывал к их обитателям. Но там с удовольствием слушали Джулио, оставаясь глухими к предложениям бельгийца.

Может показаться, что хирург мог бы действовать и другим способом. Просто создавать певцов и эксплуатировать их голос. Но он был не такой человек, Алляр. В воображении он нарисовал картину клиники, где он каждый день делает операцию кому-нибудь из миллионеров и каждый день присоединяет к счету в банке новую огромную сумму. Так или не так. Середины он не хотел. Он не был стеснен в деньгах и не имел нужды размениваться на мелочи.

Когда я узнал, что Джулио опять оказался в клинике, сравнение с дьяволом, купившим душу человека, снова пришло мне на ум, и мне сделалось страшно.

Я испугался, а Катерина страшилась еще больше. И вообще, синьор, ей было трудно все это время, пока Джулио учился петь и так решительно шел к славе.

Хотя прежде они не то чтобы совсем считались женихом и невестой, но в городке привыкли их видеть вместе. Затем появился Алляр, Джулио вернулся из Рима на костылях. По тому, как девушка взялась помогать ему и семье, можно было судить, что дело идет к свадьбе.

На самом же деле никакой договоренности не было, и, напротив, начав свой взлет, Джулио стал отдаляться от Катерины. Об их будущем он не говорил, а она была слишком горда, чтобы спрашивать. Он начал подолгу жить не дома — то в Риме, то на вилле Буондельмонте, — его окружали богатые люди, и дерзкие женщины, не стесняясь, высказывали восхищение его трагической красотой.

Можно было приписать его нерешительность тому, что он все еще чувствовал себя инвалидом, боялся возвращения паралича и не хотел связывать жизнь девушки с калекой. Но можно было приписать и другому.

Джулио пролежал в клинике месяц, и лишь иногда его отпускали в театр для репетиций. Приближался день последнего концерта на Виа Агата. Корреспонденты приезжали в клинику, где их не принимали, и приезжали к нам, где мы тоже ничего не могли сказать. В газетах стали мелькать заметки, что эксперимент не удался, Джулио теряет голос и не сможет выступить. Но владельцы театра не собирались возвращать деньги за билеты, и, наоборот, было объявлено, что концерт будет транслироваться по радио и телевидению.

Дважды Катерина ездила в Рим, но в клинику ее не пускали, и она только получала записки, что Джулио чувствует себя хорошо и просит не беспокоиться.

Мы уж не думали, что попадем в театр, но в день концерта из Рима приехал курьер с двумя билетами — Катерине и мне. Нам пришлось очень торопиться, чтобы не пропустить подходящий автобус, и мы поспели в театр к самому началу. На улице меня встретил директор, Чезаре Анджелис, и сказал, что Джулио хочет меня видеть. Меня одного.

Мы поднялись на второй этаж, где у них расположены артистические уборные, директор довел меня до нужной двери и ушел. В коридоре было пусто, Джулио приказал из публики никого не пускать.

Мы поднялись на второй этаж, где у них расположены артистические уборные, директор довел меня до нужной двери и ушел. В коридоре было пусто, Джулио приказал из публики никого не пускать.

Я постоял один. Было тихо. Снизу чуть слышно доносились звуки скрипок. Там оркестранты настраивали инструменты (на этот раз Джулио пел в сопровождении оркестра).

Я постучал, в комнате послышались шаги. Дверь отворилась, вышел Джулио, обнял меня к провел к себе. Он очень похудел, с тех пор как я видел его в последний раз. Лицо его было усталым, и вместе с тем на нем выражалась удивительная, даже какая-то ранящая мягкость и доброта.

Мы сели. Он спросил, как Катерина и его родные. Я ответил, что хорошо.

Потом мы помолчали. Не знаю отчего, но вид его был очень трогателен. Так трогателен, что хотелось плакать, хотелось сказать ему, какой он великий певец, как мы ценим его. Хотелось объяснить, что мы понимаем то тяжкое и двойственное положение, в котором он находится, владея голосом, который в то же время как бы и не его голос.

Но, конечно, я ничего не сказал, а просто сидел и смотрел на него.

Прозвучал первый звонок, затем второй и сразу за ним третий. Я не решался напомнить ему, что пора на сцену, а он сидел задумавшись.

Потом он встряхнулся, вздохнул, встал и сказал, глядя мне прямо в глаза:

— Завтра я ложусь на операцию.

— На операцию?..

— Да. Скажи об этом нашим. Алляр хочет сделать мне еще одну операцию.

— Зачем?

Он пожал плечами:

— Не знаю… Хочет расширить диапазон до пяти октав.

— Но для чего это тебе?

Проклятье! Я забегал по комнате.

— Не ложись ни в коем случае! Зачем это? А вдруг операция будет неудачной? Это же опасно. Никто тебя не может заставить.

— Но у меня договор. Тогда, еще год назад, мы составили договор, что, если Алляр сочтет нужным, мне будет сделана повторная операция.

Я стал говорить, что такие договоры незаконны, что любой судья признает этот пункт недействительным. Но он покачал головой. И вы знаете, что он сказал мне?

Он сказал:

— Я должен. Но не из-за договора. А потому, что я не верю, что Алляр дал мне голос.

Я не совсем понял его, но почувствовал, что есть какая-то правда в том, что он говорил.

Мы уже стояли в коридоре. Он был пуст. Почему-то мне показалось, что жизнь так же длинна, как этот коридор, и очень трудно пройти ее всю до конца…

Гром оваций встретил Джулио, когда он появился из-за кулис. Аплодисменты длились бы, наверно, минут десять, но Джулио решительно подал знак оркестру. Дирижер взмахнул палочкой, и полились звуки «Тоски».

Синьор, ария Каварадосси считается запетой, но Джулио взял ее нарочно для начала концерта, чтобы показать, как ее можно исполнить.

Чистый-чистый голос возник, и весь зал разом вздохнул. А голос лился шире и шире, свободнее и выше, он заполнял все: сцену, оркестровую яму, партер, все здание, улицу, город, мир. Голос лился в наши души и искал там красоты и правды и находил их. И, когда казалось, что она уже вся найдена и исчерпана, он находил ее все больше, и это было даже больно, даже ранило.

Голос ширился, шел все выше, открывались глаза, открывались сердца, вселенные раскрывались перед нами.

Голос плакал, просил, угрожал, он ужасал приходом рока, наполнял предчувствием непоправимого.

Голос звал, поднимал нас, и был уже произнесен приговор всему злу и неправде, и чудилось, что, если еще миг продлится, провисит в воздухе этот дивный звук, уже невозможно будет жить так, как мы живем, и радость и счастье воцарятся наконец на земле. И голос длился этот миг, и мы понимали, что счастье еще не пришло, что нужно его добыть, бороться. Мы вздыхали и оглядывали друг друга новыми глазами…

Синьор, я мог бы часами говорить о последнем концерте Джулио Фератерра. Но слова бессильны и не могут выразить невыразимого.

Концерт слушали в театре на Виа Агата. В Риме люди сидели у телевизоров и у приемников. В тот вечер Джулио слушала вся Италия.

После концерта Джулио отправился в клинику, и бельгиец сделал ему вторую операцию.

Синьор, я заканчиваю, мне уже мало осталось рассказать.

Джулио вернулся в Монте-Кастро через шесть недель. Приехал из Рима, никого не предупредив, и пошел к себе домой. Кто-то сказал мне о его приезде, и я побежал к нему. Я увидел его со спины сначала, он возле сарая приделывал ручку к серпу. Он был согнут, как рыболовный крючок, а когда повернулся, я увидел, что его лицо постарело на несколько лет.

Я поздоровался. Он ответил, и я его не услышал. У него совсем не было голоса, он мог только шептать. Неосторожным, а может быть, и намеренно грубым движением бельгийский хирург разрушил то, чему первая операция дала выход.

Джулио был очень спокоен и молчалив, но это было бездушие механизма. Он потерял желание жить. Почти невозможно было заставить его рассмеяться, улыбнуться, захохотать… Сначала возле их домика постоянно дежурили автомобили, и Джулио приходилось целыми днями прятаться от журналистов. Но довольно скоро, через месяц-полтора, его забыли в столице, и он смог вернуться к тому, что делал раньше: к работе на огороде, в поле и в чужих садах.

Я думаю, синьор, вы догадываетесь, кто вернул его к жизни. Конечно, Катерина. Эта девчонка взяла да и женила его на себе. В один прекрасный день явилась к ним в дом с двумя своими узлами, разгородила единственную комнату, повесила занавеску, справила документы в мэрии и потащила его в церковь, где уже все было договорено. А потом так плясала на свадьбе, что и мертвый пробудился бы…

На этом можно было бы и закончить нашу историю, синьор, но остается еще вопрос. Важный вопрос, для которого я, собственно, и стал рассказывать вам о Джулио Фератерра.

Синьор, мой дорогой, как вы считаете, мог ли бельгийский врач действительно дать Джулио голос? И неужели мир уж настолько несправедлив, уж настолько устроен в пользу имущих, что даже талант можно продать и купить за деньги?

Вот здесь-то мы и подходим к самому главному.

На первый взгляд дело выглядит просто. До встречи с Алляром у Джулио не было голоса, и он не мог петь. После операции голос явился, и Джулио Фератерра стал великим певцом. Но что же сделал ему своим ножом хирург? Да очень мало, почти ничего, вот что я скажу вам.

Разве на кончике ножа лежали та нежность, тот артистизм, то обаяние, та страсть, что пели в голосе Джулио?

Нет, и тысячу раз нет!

Я много думал об этом и понял, что бельгиец не дал Джулио голоса. Весь его план разбогатеть, продавая голос, был заранее обречен на неудачу.

Чтоб разобраться в этом, мы принуждены снова вернуться к вопросу, что же такое талант певца, художника или поэта. Талант, синьор, не есть, как думают некоторые, случайный приз, вручаемый природой, нечто зависящее от числа нервных клеток либо извилин мозга. Люди бесталанные этими рассуждениями прикрывают свою зависть и леность ума. Гений — это вполне человеческое, а не медицинское понятие. Талант рождается воспитанием, тем, как прожита жизнь, средой, страной и эпохой. И хирургия тут бессильна.

Скажу вам точнее: талант каждого отдельного человека создается огромным множеством людей. Шопен невозможен без Бетховена, а тот, в свою очередь, без Баха и Люлли с его контрапунктом. Но Шопен невозможен также и без Польши, израненной в те времена русскими царями, без польских лесов, рек, где в фиолетовых сумерках плавают его русалки, без своих соотечественников

— крестьян, польских художников, композиторов. Другими словами, гений есть нечто вроде копилки, в которую все люди постепенно вкладывают взносы доброго. И талант осуществляется лишь в той мере, в какой творец искусства способен воспринимать и отдавать это доброе. Гении понимают это, потому они скромны, свободны от кичливости, сознавая, что то, что движет их пером, кистью или смычком, принадлежит не им, а всем людям мира.

Талант — это выраженная способами искусства любовь к людям. Доброта. Но наш Джулио как раз и был добр.

Он был хорошим парнем, я говорил вам. Но что же такое «хороший парень» в наших условиях, синьор? Не стану жаловаться, я презираю это. Но взгляните, как мы живем. Посмотрите на наши лохмотья, на пропыленные улицы городка, на лица безработных на площади. Сейчас много говорят об «экономическом чуде», и в газетах печатаются цифры, показывающие, насколько вырос национальный доход страны. Но этот подъем не доходит до нашего заброшенного края, и мы живем здесь так же, как тридцать лет назад. Не скрою, что не каждый здесь надеется на лучшее и строит планы, а многих заставляет продолжать жить самый примитивный инстинкт.

Так вот, каким же человеком нужно быть, чтобы в этих условиях оставаться «хорошим парнем», веселым, уступчивым, обязательным, улыбаться и сохранять душевную гармонию?

Но Джулио и был таким. У него была доброта, которая есть суть всякого таланта, в то время как песня, игра на рояле или картина являются его видимыми образами.

Джулио был добр и, кроме того, горячо любил музыку. Он родился в певучей стране, с детства музыка была вокруг него в наших разговорах. Она пела у него в душе, внутри, и, когда явился Алляр, нужно было лишь немного, чтобы вызвать ее наружу.

Хирург не дал голос Джулио, а только открыл его. Случай натолкнул Алляра на великого артиста, но на артиста, талант которого слепой игрой несправедливой природы был закрыт для людей. И хирург, не понимая этого сам, лишь разрешил несправедливость, исправив ножом ошибку природы и дав выход тому, что и прежде было в душе Джулио.

Одним словом, хотя опыт с Джулио получился успешным, но эта идея бельгийца — награждать голосом за деньги — была ложна. Он ничего не мог бы дать тому, у кого внутри пусто и черно.

…Что вы говорите?.. Джулио? Да ничего. Сейчас уже ничего. После свадьбы он, в общем-то, начал поправляться. Немного выпрямился, в глазах стал показываться блеск. Теперь работает на тракторе в поместье Буондельмонте. Он работает на тракторе, и недавно у него появилось еще занятие.

Вы знаете, это счастье нашего городка. У нас снова светит солнце таланта. У нас есть мальчик, сынишка одного бедняка, инвалида. Ему всего тринадцать лет, он служит разносчиком в мелочной лавке. И у него голос, синьор. Удивительный, дивный, божественный голос. Его зовут Кармело, и теперь Джулио учит его петь. Но голос как у соловья… Да вот он бежит со своей корзинкой!.. Кармело! Эй, Кармело, иди сюда! Иди скорее… Вот это синьор из России, он хочет послушать, как ты поешь… Спой нам, Кармело, что-нибудь… Да, пусть будет «Аве Мария»… Ну пой же, мой мальчик, мой любимый. Пой…